

Неизвестный Эрнст

9.04.05

Эрнст Неизвестный: я был анархо-синдикалистом

КОММЕРСАНТ. - 2005. - 9 АПРЕЛЯ. - С. 9

ЮБИЛЕЙ МОНУМЕНТАЛИСТ

Сегодня исполняется 80 лет знаменитому скульптору ЭРНСТУ НЕИЗВЕСТНОМУ. Он давно живет в Америке, но отметить юбилей приехал в Москву. Где и рассказал ИРИНЕ КУЛИК о роли монументалистов в истории.

— Где и в какое время вам лучше работалось: здесь при советской власти, в постсоветское время или все же на Западе?

— Я всегда очень много работал. Но здесь мои работы не видели, у меня не было ни одной персональной выставки — на Западе их было огромное количество. А реализованных монументальных проектов, конечно, много в России, именно огромных, в советское время. Мне удалось сделать рельеф, говорят, самый большой в мире, 970 квадратных метров, на Институте электроники (в Зеленограде), удалось сделать рельеф на библиотеке в Ашхабаде. Это был период, когда архитекторы, которые меня очень любили, пробивали это — это где-то перед моим отъездом из страны, год 1974–1975. Они пробивали мои работы через самые верха. Это был Косыгин, который ко мне лично, говорят, неплохо относился, министр электроники Шокин, министр Внеспорозный. Но, в общем, это был недолгий период взлета, поскольку противодействие официальной идеологии было такое, что в перспективе ничего не светило.

— Бывали ли заказы, от которых вы отказывались?

— Очень много. В свое время мои друзья, работники аппарата ЦК,



ИРИНА КУЛИК

либеральные коммунисты (крут Горбачева, собственно, они стояли у истоков перестройки), которые хотели меня приласкать, пробили мне, чтобы я вылепил Брежнева. Я не хотел отказываться, чтобы их не обидеть, но я написал письмо. Поскольку этот заказ был к какому-то юбилею Красной армии и мне предложили вылепить Брежнева как военачальника, я написал, что, как бывший офицер, с удовольствием вылеплю портреты военачальников — в наиболее дорогостоящих и вечных материалах. Я хочу расширить тему и сделать портрет маршала Жукова в нержавеющей стали, а генерала Брежнева — в красном порфире. Но порфир — это надгробный камень. И, конечно, мои друзья не решились показать это и спрятали письмо под сукно.

— Существует мнение, что монументализм процветает в основном при сильной власти, при тоталитарных режимах?

— Мне очень не нравится, что люди, как павловская собака, действуют на условный рефлекс. Одним скажешь: демократия — они машут хвостом; скажешь: авторитаризм — они плюются. История — а для меня история очень важна — говорит, что бывают

очень хорошие монархии и очень плохие демократии. Однажды я на эту тему поругался с Сартром, который говорил мне, что монументализм по определению тоталитарен. Я тогда страшно оскорбил его. Я сказал, что ожидал увидеть большого философа, а встретил лишь мелкого французишку. Он, кстати, очень благородно себя повел, написал обо мне блестящую статью, обо мне и о Тарковском, он говорил, что он встретился с двумя настоящими экзистенциалистами. Это был европейский интеллигент, который не заглядывал в глубь истории, просто в его сознании монументы ассоциировались с тоталитарными режимами Гитлера и Сталина, а у меня — более расширено, я думал и о Перикле, и о Петре I, и о Версале. Но сейчас я понял, что он имеет в виду. Сейчас я не буду отказываться от монументов любых, которые мне бы заказали в России или где-нибудь еще. У меня масса замыслов. Но когда я леплю небольшие работы, это меня не только устраивает, но и начало доставлять большее удовольствие. Современем я не хочу расширяться, а хочу углубляться.

— Вас часто называют диссидентом. А вы сами считаете себя таковым?

— Нет, нет, я подчеркиваю, что не считаю себя диссидентом, потому что диссидентское движение было социально-политическим, а у меня не было четко очерченных взглядов: нужны колхозы или не нужны, нужна реконструкция общественной системы или нет. Мне было совершенно ясно, что я, конечно, не приемлю капитализм... То есть коммунизм. Хотя капита-

лизм, конечно, тоже, частично... Коммунизм как утопию и как бесчеловечное дело практические. Теоретически это может быть даже прекрасная утопия, а практически это оказалось ужасно. Но я в принципе не выступал с политическими заявлениями. Я противостоял личным унижениям, оскорблениям меня и моего творчества. Вот и все. — **Историю искусства XX века часто рассматривают как борьбу модернизма и соцреализма. А для вас есть что-то интересное и ценное в соцреализме?**

— Ну, это убогая систематика. Дело не в стилях — существует бездарный реализм, бездарный абстракционизм, бездарный концептуализм. А одаренное все хорошо. Соцреализм как идеологию я не приемлю, это, в общем, государственное салонное искусство. Но технические достижения... огромная школа живописи, иногда великолепная, мировая — я это приемлю. Единственное, что я не приемлю, — в так называемом соцреализме была вытравлена одна из составных частей великого искусства, это метафизика. Это мне не нравится. Кроме того, само понятие «соцреализм» очень расплывчато. В соцреализм вошли мастера самых разных направлений. Это был конгломерат рептильного политического искусства и великих начинаний различных школ. Так, Шолохов — просто реалист, Маяковский — футурист, Ахматова — акмеист. Но это обзывали соцреализмом. Поэтому я острел, что, может быть, после смерти меня тоже назовут соцреалистом, как Мейерхольда. Но я этого не хочу. Потому

что укушенный вампиром сам становится вампиром.

— **Ваши скульптуры есть в Музее Ватикана, вы встречались с папой римским. Вы себя считаете религиозным художником?**

— Я не имею права считать себя таковым, потому что религиозные художники — это те, кто канонизирован определенной религией. Да, католики принимали мое творчество, но сам я себя в этом смысле оценивать не могу. Но метафизические переживания мне свойственны. А по жизни я православный христианин, причем не новоиспеченный, а с детства.

— **Проблемы, возникшие у вас реализацией «Древа жизни» в Москве, были для вас неожиданными?**

— Честно говоря, я не был готов, потому что я находился под обаянием происходящего, перестройки, социальной и экономической. И такой анахронизм, который повторился, как дежавю, был для меня неожиданным. Но за этим, видимо, стояли не столько идейные вещи, как во времена советской власти, а конъюнктурная борьба художников, интересов, личностей...

— **Изменилась ли российская культурная политика в сравнении с советскими временами?**

— Бесспорно, сильно. Конечно, к лучшему. К худшему она изменилась в том смысле, что нет патронажа государства. В свое время я был анархо-синдикалистом и считал, что государство должно оставить нас в покое. Но, побыв на Западе, я понял, что там художники не брошены на произвол судьбы — существуют гран-

ты, государственные, региональные, церковные, этнические и воспитан мощный пласт меценатов. В России, поскольку все же еще меценатов недостаточно, нужна какая-то поддержка.

— **Вы встречались со многими российскими лидерами — с Хрущевым, Ельциным, Путиным. Кто из них кажется вам самой яркой личностью?**

— Я не хочу и не могу это комментировать — я не писатель, не журналист, не психоаналитик. В любом случае это яркие и интересные личности. Случайно президентами не становятся. Я к политическим деятелям отношусь как к функции. Если функцию выполняет — значит, хорошо, не выполняет — значит, плохо. Я, например, преподавал в Колумбии, а там вся профессура — левые, либералы, и они органически не терпели Рейгана, умного и талантливого президента, а аргументы были: он некультурный, он не читал Кафку. А я говорил: президент и не должен читать Кафку. От президента надо требовать только выполнения своих функций и оценивать его с этой точки зрения.

— **Запад вас как-то изменил эстетически?**

— Нет, я сложился к пятидесяти годам так, что даже если бы я захотел, я бы не смог измениться. Разве что появились новые технологии, новые приемы. Я пытался измениться, но мне скучно. Я работаю как в Древнем Египте — привык сам рубить камень, сам отливать, правда, сейчас я сам уже не отливаю. Мой процесс труда — это не какой-нибудь концептуализм. Мне нужно не создавать концепцию, а работать.